

Лекция 9. Тактическое обобщение исторического знания

3 марта 1976 г. Тактическое обобщение исторического знания. — Конституция, Революция и циклическая история. — Дикарь и варвар. — Тройная фильтрация варвара: тактические формы исторического дискурса. — Вопросы метода: эпистемическая область и буржуазный антиисторицизм. — Возрождение исторического дискурса во время Революции. — Феодализм и готический роман

В последний раз я вам показал, как сформировались, конституировались усилиями аристократической реакции начала XVIII века историко-политический дискурс и историко-политическая сфера. Я хотел бы теперь перенестись в другое время, а именно, в период французской революции, в определенный ее момент, когда можно отчетливо увидеть в ней два процесса. С одной стороны, можно видеть, как дискурс, поначалу связанный с аристократической реакцией, широко распространяется не только потому, что становится

регулярной, канонической формой исторического дискурса, но и потому, что его стали использовать тактически как инструмент не только знать, а в конечном счете представители любых политических направлений. Действительно, историческое знание на протяжении XVIII века, конечно, при помощи определенного числа модификаций в основных положениях, становится в итоге своего рода полезным дискурсивным оружием, к которому обращаются все политические противники. В целом, я хотел бы вам показать, почему этот исторический дискурс не должен восприниматься как идеология или идеологический продукт дворянства и его классовой позиции, и вообще не об идеологии здесь идет речь; я имею в виду другое, что я как раз пытаюсь наметить и что могло бы представлять собой дискурсивную тактику, механизм знания и власти, который именно в качестве тактики может передаваться и в результате оказывается одновременно и способом образования знаний, и общей формой политической борьбы. Итак, распространение дискурса об истории, но в качестве тактического оружия.

Наряду с этим во время революции вырисовываются и способы использования этого оружия, соответствующие трем различным битвам, в результате чего появились три разные тактики: первая ориентировалась на национальности и должна была по существу оказаться в неразрывной связи с феноменами языка, следовательно, с филологией; вторая ориентировалась на общественные классы, здесь центральным феноменом было экономическое господство, следовательно, глубинное соотношение с политической экономией; наконец, третья имеет в центре не национальности и не классы, а расу с ее биологическими особенностями и селекцией, то есть проявляется единство между историческим дискурсом и биологической проблематикой. Филология, политическая экономия, биология. Говорить, работать, жить.¹ Скоро увидим, как все это вновь инвестируется и заново сочетается в историческом знании и в связанных с ним тактиках. Сегодня я хотел бы рассказать о тактическом распространении исторического знания: о том, как же оно постепенно выходит за рамки аристократической реакции, представителями которой оно было создано в начале XVIII века, и становится общим инструментом всех форм политической борьбы конца XVIII века, с какой бы точки зрения эта борьба не велась? Первый вопрос касается причины этой тактической поливалентности: как и почему столь особый инструмент, этот в конечном счете столь своеобразный дискурс, который заключался в воспевании захватчиков, смог стать общим инструментом в разных политических формах тактики и столкновений в XVIII веке? Я думаю, что причину можно найти, если двигаться в определенном направлении. Буленвилье из национального дуализма сделал принцип понимания истории. Это означает три вещи. Для Буленвилье речь шла прежде всего о том, чтобы вновь обнаружить начальный конфликт (битву, войну, завоевание, нашествие и т. д.), тот начальный конфликт, то воинственное ядро, от которого могли произойти другие битвы, другие формы борьбы, другие столкновения, либо в качестве его прямого следствия, либо в результате перемещений, изменений, переворотов в соотношении сил. Таким образом, существует большая генеалогия борьбы, проходящая сквозь различные битвы, зарегистрированные в истории. Как вновь найти основную линию борьбы, как снова связать стратегическую нить всех этих сражений? Буленвилье хотел также выработать такое историческое понимание, где бы речь шла не только об обнаружении ядра, главной битвы и о способе, с помощью которого из нее произошли другие битвы, он стремился также выявить измены, противоестественные союзы, хитрости одних и трусость других, все несправедливости, все постыдные расчеты, непростительное

забвение, сделавшие возможным трансформацию и в то же время некоторым образом фальсификацию исходного соотношения сил в этом главном столкновении. Наделе надо было устроить большой исторический экзамен («кто виноват?») и таким путем не только снова связать стратегическую нить, но и очертить в истории иногда извилистую, но непрерывную линию, обозначающую моральное разделение общества. Исторический подход Буленвилье преследовал и другую цель: нужно было за всеми тактическими перемещениями и историко-моральными потерями вновь разглядеть, выявить такое соотношение сил, которое было бы одновременно хорошим и истинным. Истинным указанное соотношение сил является в том смысле, что оно обретается не как идеал, а как реальность, которая на деле была помещена, вписана историей в решающее испытание сил, в данном случае это нашествие франков на Галлию. Итак, есть определенное соотношение сил, исторически верное и реальное, и оно несет в себе позитивный моральный заряд и должно быть освобождено от всех искажений, которые могли произойти в результате последующих измен и различных перемещений. Тема подобного исторического исследования такова: нужно вновь найти то соотношение сил, которое бы точно соответствовало первоначальному состоянию. Эту задачу ясно сформулировали Буленвилье и его последователи. Буленвилье говорил, например: надо вспомнить наши обычаи, какими они были в период их подлинного происхождения, открыть общие для всей нации правовые принципы и рассмотреть, что изменилось с течением времени. А дю Бюа-Нансэ немного позже сказал: именно в соответствии с первичным духом правления нужно вновь придать силу некоторым законам, умерить другие, слишком большая строгость которых могла бы нарушить равновесие, нужно вновь установить гармонию и соответствие.

В таком проекте анализа истории заложены три цели: восстановление исходной стратегической ориентации, проведение линии морального раздела и установление справедливости того, что можно назвать точкой конституирования политики и истории, моментом конституирования королевства. Я говорю о «точке конституирования», о «моментах конституирования», чтобы слегка отойти от слова «конституция», но между тем не совсем его уничтожить. Фактически речь идет, как станет видно, именно о конституции: историю делают, чтобы установить конституцию, но конституцию, понимаемую не как четкую совокупность законов, которые были бы сформулированы в определенный момент. Дело не в том, чтобы вновь обрести род основополагающей юридической конвенции, которая была принята в определенное время, или в пред-время королем, сувереном и его подданными. Дело в том, чтобы вновь обрести нечто, что имеет плотность и историческую сущность; что вследствие этого не принадлежит ни к уровню закона, ни к уровню силы; что не является ни документом, ни равновесием. Это конституция в том смысле, как ее могли бы понять медики, то есть: соотношение сил, равновесие и игра пропорций, стабильная асимметрия, конгруэнтное неравенство. Обо всем этом говорили медики XVIII века, когда упоминали «конституцию».² Такая идея конституции появляется в той исторической литературе, одновременно и медицинской, и военной, которая формируется в среде аристократической реакции: она ориентируется на соотношение сил между добром и злом, а также на соотношение сил между противниками. С этим конституирующим моментом, который нужно вновь обрести, следует соединиться с помощью знания и восстановления основного соотношения сил. Речь идет об утверждении конституции, приемлемой не по причине восстановления старых законов, а по причине революции в силах — революции в том смысле, в каком говорится о переходе от ночи ко дню, с нижней точки на самую

верхнюю. Начиная с Буленвилье стало возможно — и я думаю, что это основное, — соединение двух понятий, конституции и революции. Пока в историко-юридической литературе, которая в основном была литературой парламентариев, под конституцией подразумевались, по существу, основные законы королевства, то есть юридический аппарат, нечто вроде конвенции, то было ясно, что возврат конституции мог быть только восстановлением, в некотором роде решающим, вновь обнаруженных законов. И напротив, начиная с того момента, когда конституция больше не представляется юридической основой, совокупностью законов, а рассматривается как соотношение сил, то становится ясно, что такое соотношение невозможно восстановить из ничего; его можно восстановить только тогда, когда существует циклическое движение истории, когда, во всяком случае, существует нечто, заставляющее повернуть историю и привести ее к исходному пункту. Следовательно, здесь можно видеть, как вводится, с помощью медико-военной идеи конституции, то есть идеи о соотношения сил, нечто вроде циклической философии истории, идеи о том, что история развивается кругообразно. Я говорю, что эта идея «вводится». Хотя, по правде говоря, она вводится заново или, если угодно, старая милитаристская тема возврата соединяется с развитым историческим знанием. Философия истории в форме философии циклического времени становится возможна начиная с XVIII века, с тех пор как вступили в игру два понятия: конституция и соотношение сил. Я думаю, что фактически у Буленвилье в первый раз внутри развитого исторического дискурса появляется идея о цикличности истории. Империи, говорил Буленвилье, рождаются и приходят в упадок, подобно тому как день сменяет ночь.³ Солнечная революция, историческая революция: оба явления теперь связаны. Итак, происходит скрепление, осуществляется связь трех тем — конституции, революции, циклической истории: вот, если хотите, один из аспектов того тактического инструмента, который разработал Буленвилье.

Если говорить о другом аспекте, то нужно поставить вопрос: чего хотел Буленвилье, когда он разыскивал хороший и истинный конституирующий момент в истории? Он, конечно, хотел отказаться от поиска этого конституирующего момента в законе, но также он не желал искать его в природе: для него характерен анти-юридизм (о чем я вам только что говорил), но также антинатурализм. Серьезным противником Буленвилье и его последователей станет идея природы, человека как природного существа, или, если сказать иначе, серьезным противником такого рода анализа (и в этом также причина того, что анализы Буленвилье станут инструментальными и тактическими) оказывается человек природы, дикарь. Это зависит от их двух причин: во-первых, хороший или дурной, дикарь — это человек природы, которого создали юристы и теоретики права, поместив его в некое дообщественное время с целью конституирования общества с помощью этой фикции, создали как элемент, из которого мог конституироваться социальный организм. Разыскивая решающий для организации общества момент, Буленвилье и его последователи не стремились ввести в свой анализ дикаря, в некотором роде предшествующего обществу. Во-вторых, в лице дикаря, человека природы они оспаривали изобретенный экономистами идеальный элемент, человека без истории и без прошлого, который движим единственно своим интересом и обменивает продукт своего труда на другой продукт. Таким образом, историко-политический дискурс Буленвилье и его последователей одновременно отрицал теоретико-юридического дикаря, дикаря, вышедшего из лесов, чтобы заключить контракт и основать общество, а также дикаря типа homo oeconomicus, обреченного на обмен и торговлю. По сути, эта пара — дикарь и обмен — является, как я думаю, абсолютно

фундаментальной не только для юридической мысли, не только для правовой теории XVIII века; связь дикаря и обмена также всегда можно отыскать, начиная с правовой теории XVIII века и вплоть до антропологии XIX и XX веков. По существу, в юридической мысли XVIII века, как и в антропологической мысли XIX и XX веков, дикарь — это прежде всего человек обмена; он участник обмена, идет ли речь об обмене правами или благами. Как участник обмена правами он основывает общество и верховную власть. Как участник обмена благами он конституирует общественный организм, который в то же время является экономическим организмом. Начиная с XVIII века дикарь рассматривается как субъект простого обмена. И в основном именно в противовес понятию дикаря (значение которого было огромно в юридической теории XVIII века) основанный Буленвилье историко-политический дискурс выдвигал вперед другого персонажа, столь же простого, как дикарь юристов (и в скором времени антропологов), но выстроенного совершенно иначе. Этот противник дикаря — варвар. Но каким образом варвар противопоставляется дикарю? Прежде всего, дикарь, вместе с другими дикарями, всегда остается таковым в состоянии дикости, если же создано отношение социального типа, то дикарь перестает быть таковым. Зато варвар — это человек, который не может быть понят и охарактеризован сам по себе, он может быть определен только по отношению к цивилизации, то есть как нечто, находящееся вне ее. Нет варвара, если где-либо нет точки цивилизации, по отношению к которой варвар оказывается внешним и против которой он борется. Итак, отношение варвара к цивилизации — которую варвар презирает и одновременно желает — можно определить как чуждость и постоянную войну. Нет варвара без цивилизации, которую он стремится разрушить и присвоить. Варвар это всегда человек, который топчется у государственных границ, тот, кто уперся в городские стены. В отличие от дикаря варвар не принадлежит природе. Он появляется только на основе цивилизации, с которой столкнулся. Он входит в историю не как основатель общества, а как человек, который проникает в цивилизацию, устраивает в ней пожары и разрушает ее. Таким образом, я думаю, первое отличие между варваром и дикарем заключается в отношении к цивилизации, стало быть, к предшествующей истории. Нет варвара без предшествующей истории, истории цивилизации, которую он поджигает. И в то же время варвар не носитель обмена наподобие дикаря. Варвар, по существу, совсем не носитель обмена: он носитель господства. В отличие от дикаря варвар захватывает, присваивает; он не осуществляет первоначального захвата земли, он грабит. То есть его отношение к собственности всегда вторично: он овладевает всегда только собственностью, уже кому-то принадлежавшей; он также заставляет других служить себе, он заставляет других обрабатывать земли, охранять своих лошадей, делать оружие и т. д. Его свобода покоится именно на свободе, потерянной другими. Поддерживая отношения с властью, варвар в отличие от дикаря никогда не отдает своей свободы. У дикаря свободы как бы в изобилии, и он уступает ее с целью гарантировать свою жизнь, безопасность, собственность, свои блага. Варвар никогда не уступает свободы. И когда он определяет себе власть, определяет короля, избирает вождя, то делает это вовсе не для того, чтобы уменьшить свою собственную часть прав, а напротив, чтобы умножить свою силу, стать сильнее в своих вымогательствах, грабежах и насилиях, чтобы быть захватчиком, более уверенным в своих силах. Варвар признает власть лишь как силу, умножающую его собственную индивидуальную силу. Поэтому правительственная модель в представлении варвара обязательно имеет военный характер, она совсем исключает договоры об общественных уступках, характерные для дикаря. Именно персонаж варвара утвердила, как я думаю, в XVIII веке история, у истоков которой был Буленвилье.

Теперь становится понятным, почему вопреки всему дикарь, даже когда за ним признают некоторые недостатки и злобность, тем не менее в современной юридически-антропологической мысли и вплоть до встречающихся теперь буколических американских утопий всегда оказывается добрым. И почему бы ему не быть добрым, если его функция заключается в том, чтобы менять, давать — давать, конечно, исключительно в своих интересах, но в форме взаимовыгоды, в которой мы признаем приемлемую и юридическую форму доброты? Зато варвар обязательно плохой и злой, даже если признают его достоинства. Он может быть только спесивым и бесчеловечным, так как не является человеком обмена и природы; он — человек истории, человек грабежа и пожара, человек господства. «Народ гордый, грубый, не имеющий ни родины, ни закона», — говорил Мабли (который, однако, очень любил варваров); он допускает ужасное насилие, потому что для него это часть общественного порядка.⁴ У варвара душа большая, благородная и гордая, но в ней всегда есть место обману и жестокости (все это из Мабли). Де Бонневий так сказал о варварах: «Эти авантюристы [...] дышат только войной [...] меч их право и они пользуются им без угрызений совести».⁵ И Марат также был большим другом варваров, называл их «бедными, грубыми, не имеющими торговли и ремесел, но свободными».⁶ Был ли варвар человеком природы? И да и нет. Нет, потому что он всегда связан с историей (и историей предшествующей). Варвар возникает на основе истории. И если он соотносится с природой, говорил дю Бюа-Нансэ (который целил в своего близкого врага, Монтескье), если он человек природы, что же тогда природа? Это отношение солнца к грязи, которую оно высушивает, это отношение чертополоха к ослу, который им питается.⁷ Оставаясь в историко-политической области, где знание военного дела постоянно рассматривалось как политический инструмент, можно, я думаю, приступить к характеристике каждой из крупных тактик, утвердившихся в XVIII веке, выделяя их соответственно способу использования в целях политической борьбы тех четырех элементов, которые присутствовали в анализе Буленвилье: конституции, революции, варварства и господства. В основном проблема заключается в том, чтобы понять, как можно установить оптимальную связь между разгулом варварства, с одной стороны, и желаемым конституционным равновесием — с другой? Как использовать для правильного устройства общества насилие, свободу и т. д., которые варвар может принести с собой? Иначе говоря, что нужно сохранить и что нужно устранить из варварских отношений, чтобы создать справедливую конституцию? Что можно найти полезного в варварстве? В основном проблема заключается в том, чтобы осуществить теоретическую фильтрацию феноменов варвара и варварства: какие позитивные элементы можно выделить в варварском господстве, чтобы осуществить конституирующую революцию? Именно эта проблема и различные решения насчет способа очищения варварства ради осуществления конституирующей революции должны были определить — в области исторического дискурса, в историко-политической области — тактические позиции различных групп, представителей различных интересов, различных центров борьбы — будь то дворянство или монархическая власть, будь то буржуазия или различные ее слои.

Я думаю, что над всей совокупностью исторических дискурсов XVIII века тяготела одна проблема: совсем не революция или варварство, а революция и варварство, роль варварства в революции. Не доказательство, а подтверждение важности этой проблемы я нахожу в тексте, переданном мне однажды, когда я уходил с лекции. Это текст Робера Десно, который отлично показывает, каким образом вплоть до XX века эта проблема — я чуть не

сказал: социализм или варварство⁸ — революция или варварство оказывается ложной, а подлинной выступает проблема: революция и варварство. В качестве свидетельства этого я возьму текст Робера Десно, который, как я полагаю, появился в издании «Сюрреалистская революция», точно не знаю, так как отсылки отсутствуют. Вот этот факт. Можно подумать, что он был прямым порождением XVIII века: «Выходцы с мрачного Востока, цивилизованные народы проделали тот же путь на Запад, который проделали Атилла, Тамерлан и много других, имена которых неизвестны. Кто говорит о цивилизованных, говорит о прежних варварах, это побочные дети ночных авантюристов, те, кого развратили враги (римляне, греки). Изгнанные с берегов Тихого океана и со склонов Гималаев „эти великие войска“, изменившие своей миссии, теперь оказываются с теми, кто не так давно отражал их нашествия. Сыновья калмыков, внуки гуннов, снимите ваши одежды, заимствованные из гардероба Афины и Феба, латы, найденные в Спарте и Риме, и явитесь нагими, какими были ваши отцы на своих маленьких лошадях. А вы, норманны, земледельцы, ловцы сардин, производители сидра, садитесь на утлые суденышки, которые оставляют длинный след за полярным кругом, прежде чем достигнут этих заболоченных мест и богатых дичью лесов. Свора, признай своего хозяина! Ты думал спастись от Востока, он гнал тебя вперед, наделив тебя правом разрушения, которое ты не смог сохранить, и вот ты вновь находишь его за спиной, когда кругосветное путешествие закончено. Я прошу тебя, не подражай собаке, ловающей свой хвост, ты постоянно будешь бежать за Западом, остановись. Расскажи нам немного о своей миссии, великая восточная армия, ставшая сегодня населением Запада⁹». Если пытаться воссоздать различные исторические дискурсы и формы связанной с ними тактики, следует учесть, что Буленвилье одновременно ввел в историю могучего белокурого варвара, юридический и исторический факт нашествия и насильственного завоевания, присвоения земель и порабощения людей и, наконец, принцип чрезвычайно ограниченной королевской власти. Какие же из этих крупных и взаимосвязанных феноменов, приведших к нашествию варварства в историческое знание, должны быть устранены? И что нужно сохранить, чтобы восстановить необходимое для королевства правильное соотношение сил? Я рассмотрю три большие модели теоретической фильтрации феномена варварства. Было много других в XVIII веке; я беру три, самые важные в политическом и также, конечно, эпистемологическом отношениях; каждая из них соответствует трем очень разным политическим позициям.

Первая, самая строгая, абсолютная фильтрация феномена варварства состоит в том, чтобы не пропустить в историю ничего от варвара: при такой позиции важно показать, что французская монархия не зависит от германского нашествия, которое ее якобы установило и было ее своеобразной основой. Важно также показать, что предки дворянства не были завоевателями, пришедшими с другого берега Рейна, и что поэтому привилегии дворянства — в силу которых оно располагается между сувереном и другими подданными — или были ему дарованы позже, или оно их захватило некими темными способами. В итоге, вместо того чтобы прикреплять привилегированное дворянство к основополагающей варварской орде, нужно уклониться от этого варварского ядра, заставить его исчезнуть и оставить в некотором роде дворянство в подвешенном состоянии — сделать из него одновременно позднее и искусственное творение. Понятно, что это монархический тезис, его можно найти у всех историков от Дюбо¹⁰ до Моро.¹¹

Этот тезис, представленный в виде фундаментального положения, означает примерно следующее: просто франки — говорит Дюбо, а затем это скажет Моро — по сути миф, иллюзия, сфабрикованное Буленвилье творение. Франков не существует: то есть, во-первых, нашествия совсем не было. Что фактически произошло? Нашествия были, но другие: нашествия бургундов, готов, им римляне не могли противостоять. И ввиду этих нашествий римляне обратились — в качестве союзников — к маленькому народу, имевшему некоторые военные заслуги, это и были франки. Но франки пришли совсем не как захватчики, не как варвары, стремящиеся к господству и грабежу, а как маленькое, союзное и полезное население. Так что они тотчас получили права гражданства; их не только сразу сделали галло-римскими гражданами, но им дали рычаги политической власти (по этому поводу Дюбо напоминает, что Хлодвиг был, в конце концов, римским консулом). Итак, ни нашествия, ни завоевания, а миграция и союзничество. Не было нашествия, и нельзя также сказать, что у франкского народа были свои законы и обычаи. Прежде всего, просто потому, что они были очень малочисленны, говорит Дюбо, и не могли поэтому безжалостно обращаться с галлами, «как турок с мавром»,¹² и навязывать им свои собственные привычки и обычаи. Они даже не могли, затерявшись в галло-римской массе, сами сохранить свои обычаи. Итак, они буквально растворились. А впрочем, как могли они не раствориться в этом обществе и в галло-римском политическом аппарате, если у них отсутствовало настоящее знание об администрации и управлении? Дюбо даже считает, что свое военное искусство они заимствовали у римлян. Во всяком случае, говорит Дюбо, превосходные административные механизмы римской Галлии не были разрушены франками. Порядок торжествовал. Таким образом, франки просто были поглощены, и только их король остался наверху, на вершине галло-римского здания, в которое едва ли проникли несколько иммигрантов германского происхождения. Один король, значит, остался на вершине здания, король, унаследовавший в точности диктаторские права римских императоров. То есть совсем не было, как в это верил Буленвилье, аристократии варварского типа, а была просто абсолютная монархия.¹³ И только несколько веков спустя произошел раскол в обществе; он был аналогичен нашествию, но имел внутреннее для страны происхождение. Здесь анализ Дюбо перемещается к концу эпохи Каролингов и к началу эпохи Капетингов, в правлении которых он отмечает ослабление центральной власти, абсолютной власти диктаторского типа, которой вначале пользовались Меровинги. Зато происходит присвоение все большей и большей власти чиновниками суверена: свои административные округа они превращают в фьефы, как если бы это была их личная собственность. И именно таким путем, из разложения центральной власти, рождается феодализм. Итак, феодализм оказывается поздним феноменом, его возникновение связано совсем не с нашествием извне, а с внутренним разложением центральной власти, приводящим к тем же последствиям, что и нашествие, только разложение было совершено изнутри людьми, узурпирующими власть, хотя они были просто чиновниками, назначенными властью. «Расчленение суверенитета и превращение административных округов в сеньориальные владения, — я вам читаю текст Дюбо, — имели последствия, очень похожие на последствия иностранного нашествия, они поставили между королем и народом господствующую касту и сделали из Галлии настоящую завоеванную страну»¹⁴. Три элемента — нашествие, завоевание, господство — были характерны, согласно Буленвилье, для времени франков. Дюбо тоже их рассматривает, но в качестве внутренних явлений, обязанных своим появлением рождению аристократии или связанных с ним, при этом аристократия понимается как искусственное образование, не имеющее никакого отношения

к франкскому нашествию и якобы связанное с ним господство варварства. В таком случае именно против узурпации власти чиновников, этого внутреннего нашествия, начинается борьба: монарх, с одной стороны, города, сохраняющие свободу римских муниципий, — с другой, начинают вместе борьбу против феодалов. В рассуждениях Дюбо. Моро и всех историков-монархистов можно видеть, как постепенно происходит перевертывание дискурса Буленвилье, но с одним важным изменением: центр исторического анализа перемещается с факта нашествия и первых Меровингов к другому факту, каким было рождение феодализма в эпоху первых Капетингов. Можно также видеть — и это важно, — что нашествие знати подается не как следствие военной победы и вторжения варваров, а как результат внутренней узурпации. Факт завоевания постоянно подтверждается, но он не связан с варварами и не имеет тех правовых последствий, которые бы могла повлечь за собой военная победа. Знать — это не варвары, это — мошенники, политические мошенники. Вот первая позиция, первое тактическое использование — посредством перевертывания — дискурса Буленвилье.

Теперь о другой теоретической фильтрации темы варварства. В этом типе дискурса речь идет о том, чтобы лишить германскую свободу, то есть варварскую свободу, характера исключительной привилегии аристократии. Иначе говоря, речь идет о том — и поэтому данный тезис, данная тактика еще остаются близки к идеям Буленвилье, — чтобы по-прежнему ценить в противовес римскому монархическому абсолютизму принесенные франками и варварами свободы. Грубые отряды, пришедшие с другого берега Рейна, вошли в Галлию и принесли с собой свои свободы. Но это были не воинственные германцы, составившие аристократическое ядро, которое затем упрочилось в галло-римском обществе. В Галлию хлынули воины, и это был собственно вооруженный народ. В политическом и социальном планах в Галлии утвердилась не аристократия, а, напротив, демократия в самой широкой форме. Этот тезис в то время можно найти у Мабли¹⁵, у Бонневилья¹⁶ и еще у Марата в «Цепях рабства». Итак, варварская демократия франков, которые не имели никакой аристократии и представляли собой эгалитарный народ солдат-граждан: «Гордый народ, жестокий, — говорит Мабли, — не имеющий ни родины, ни закона»,¹⁷ каждый солдат-гражданин жил только добычей и не желал соблюдать никакие законы. У этого народа не было постоянной власти, никакой исторически обоснованной или созданной власти. По словам Мабли, именно грубая, варварская демократия установилась в Галлии. Из этого вытекали многие особенности нового режима: жадность и эгоизм франкских варваров, считавшиеся их достоинствами, когда они решили перейти Рейн и захватить Галлию, стали недостатками, когда они в ней поселились; франки занимались только грабежами и захватами. Они пренебрегали и своими властными функциями, не стремились присутствовать на мартовских или майских ассамблеях, которые ежегодно тщательно контролировали королевскую власть. Они позволили таким образом утвердиться власти короля, позволили стать над собой монархии, стремящейся к абсолютизму. А духовенство — конечно, это скорее невежество, чем хитрость, — с точки зрения Мабли, — интерпретирует германские обычаи в терминах римского права: германцы считали себя подданными монархии, тогда как они фактически были республиканцами.

Что касается должностных лиц суверена, они все больше и больше завладевали властью, и складывающаяся ситуация вела к отказу от всеобщей демократии, принесенной варварскими франками, и к установлению монархической и аристократической системы. Это

был медленный процесс, пробудивший между тем и некоторую противоположную себе реакцию.

Она наступила, когда Карл Великий, правильно ощущая, что над ним все более доминирует и ему угрожает аристократия, снова начал опираться на народ, которым прежние короли пренебрегали. Карл Великий восстанавливает Марсово поле и майские ассамблеи; он позволяет всем, даже не воинам, приходить на ассамблеи. На короткий период происходит возврат к германской демократии, а затем, после этой застопорки, начинается медленный процесс, ведущий к исчезновению демократии, появлению и упрочению двух близких политических фигур. С одной стороны, монарх [Гуго Капет]. А как устанавливается монархия? Она устанавливается в той мере, в какой аристократы, видя угрозу со стороны варварской франкской демократии, соглашались избрать короля, который все более и более будет стремиться к абсолютизму; но, с другой стороны, в качестве компенсации за осуществленное благородными коронование Гуго Капета Капетинги поторопятся дать благородным в качестве фьефов административные округа и должности. Именно как следствие, как результат сговора между благородными, сотворившими короля, и королем, создавшим феодализм, и появились над варварской демократией родственные фигуры монархии и аристократии. Таким образом, на фоне германской демократии происходит этот двойственный процесс. Конечно, аристократия и абсолютная монархия однажды рассорятся, но не нужно забывать, что они по сути сестры-близнецы.

Третий тип дискурса, анализа и в то же время тактики, в основе является самым тонким и ему будет суждена великая историческая судьба, хотя в эпоху своего появления он наделал, конечно, гораздо меньше шума, чем рассуждения Дюбо или Мабли. В этом дискурсе выявляются, по существу, две формы варварства: плохое варварство германцев, от которого нужно освободиться, и хорошее варварство галлов, единственных подлинных носителей свободы. Благодаря этому прделываются две важные операции: с одной стороны, свобода отделяется от германского духа, тогда как у Буленвилье они были связаны вместе; а с другой стороны, намечается отделение римского духа от абсолютизма. То есть в римской Галлии обнаруживаются те элементы свободы, относительно которых все предыдущие теории были более или менее согласны, приписывая их франкам. В целом если трактовка Мабли достигалась благодаря трансформации идеи Буленвилье о демократическом звучании германских свобод, то новая идея, которую развивали Брекиньи,¹⁸ Шапсаль¹⁹ и другие, была сформулирована путем интенсификации и смещения того, что несколько косвенно выразил Дюбо, когда сказал, что против феодализма поднялись сразу король и города, поскольку последние сопротивлялись феодальной узурпации. Тезис Брекиньи и Шапсаля будет, в силу его важности, воспринят буржуазными историками XIX века (Огюстеном Тьерри, Гизо), он включал утверждение, что в своей основе политическая система римлян была двухэтажной. Конечно, на уровне центрального правительства, большой римской администрации существовала, по крайней мере во времена империи, абсолютная власть. Но римляне оставили галлам их собственные изначальные свободы. Так что римская Галлия была в определенном смысле частью этой огромной абсолютистской империи, но она также была усеяна, пронизана многочисленными очагами свободы, которые в своей основе были старыми галльскими или кельтскими свободами, римляне их не тронули, и они продолжали действовать в городах, в знаменитых муниципиях Римской империи, где в форме, впрочем, заимствованной у старого римского города, продолжали

действовать архаические свободы предков галлов и кельтов. Свобода (я думаю, это впервые проявилось в таких исторических анализах) оказывается феноменом, совместимым с римским абсолютизмом; это феномен галльский, но особенно городской. Свобода принадлежит городам. И именно в той мере, в какой она принадлежит городам, она может вдохновлять на борьбу и стать политической и исторической силой. Конечно, римские города были разрушены в результате нашествия франков и германцев. Кроме того, последние будучи кочевниками, то есть варварами, избегали городов и селились на свободных сельских территориях. Города же, которыми пренебрегли франки, восстанавливались и заново обогащались. С момента утверждения феодализма, в конце царствования Каролингов, крупные сеньоры, мирские и церковные, пытаются прибрать к рукам восстановленное богатство городов. Но города, приобретшие в ходе истории силу, благодаря своим богатствам, свободам, созданным ими коммуна́м смогут бороться, сопротивляться, восставать. Большие мятежные движения коммун заметно усилятся со времени первых Капетингов и заставят в конечном счете как королевскую власть, так и аристократию уважать свои права и в какой-то степени свои законы, тип хозяйствования, образ жизни, нравы и т. д. Это происходит в XV и XVI веках. Таким образом, на этот раз мы встречаемся с тезисом, который гораздо более, чем предыдущие, даже более, чем тезис Мабли, может стать идеей третьего сословия, так как в первый раз история города, городских институтов, а также история богатства и его политических последствий оказывается включенной в исторический анализ. В этом анализе выявлена или, по крайней мере, очерчена история третьего сословия, которое формируется не просто в силу уступок короля, но благодаря собственной энергии, богатству, торговле, благодаря хорошо разработанному городскому праву, заимствованному отчасти из римского права, но сочетающегося также с прежней свободой, то есть со старым галльским варварством. С этого момента и в первый раз римский дух, который всегда в исторической и политической мысли XVIII века был окрашен в цвет абсолютизма и всегда связывался с королевской властью, получает окраску либерализма. И далеко не будучи театральной формой, с помощью которой королевская власть размышляла о своей истории, римская цивилизация, благодаря только что упомянутым анализам, становится целью самой буржуазии. Буржуазия сможет использовать римское наследие в форме галло-римских муниципий как своего рода знак собственного благородства. Галло-римский муниципалитет — это благородство третьего сословия. И именно муниципалитета как формы автономии, муниципальной свободы будет требовать третье сословие. Все это, понятно, проявится в дебатах XVIII века, относящихся как раз к проблемам свободы и муниципальной автономии. Я рекомендую, например, текст Тюрго, датированный 1776 г.²⁰ Заодно вы увидите, что накануне революции римская направленность мышления и действия сможет освободиться от всех, присущих ей на протяжении XVIII века, монархистских и абсолютистских коннотаций. Она сможет тогда появиться в либеральном облачении, к ней, следовательно, смогут обращаться и те, кто не принадлежит ни к монархистам, ни к абсолютистам. Даже буржуа смогут обращаться к римскому наследию. И вы знаете, что революция не откажет себе в этом.

Другое значение дискурса Брекиньи, Шапсаля и других в том, что он ведет к большому расширению исторической области. Английские историки XVII века, а также Буленвилье исходили из маленького ядра, из факта нашествия, из нескольких десятилетий или, самое большее, из века, в ходе которого варварские орды затопили Галлию. Но мало-помалу

происходило расширение во всем. Можно было прочитать, например, у Мабпи о значении такого персонажа, как Карл Великий; а у Дюбо исторический анализ углубился вплоть до первых Капетингов и феодализма. И вот теперь у Брекиньи, Шапсаля и у других центр, область исторически полезного и политически плодотворного знания растягивается, с одной стороны, к истокам, так как восходит до муниципальной организации римлян и в конечном счете до старых галльских и кельтских свобод; это огромный шаг назад в историю. С другой стороны, рассматриваются события новейшей истории, анализируются все формы борьбы, все восстания коммун, которые с начала феодализма способствуют выдвижению, во всяком случае частичному, буржуазии как экономической и политической силы в XV и XVI веках. Теперь полуторатысячелетняя история становится областью исторического и политического исследования. Юридический и исторический факт нашествия полностью растворился, теперь приходится иметь дело с огромной областью борьбы, которая охватывает 1500 лет истории и имеет столь разнообразных действующих лиц, как короли, дворянство, духовенство, солдаты, королевские чиновники, третье сословие, буржуазия, крестьяне, жители городов и т. д. Эта история опирается на такие институты, как римские свободы, муниципальные свободы, церковь, воспитание, торговля, язык и т. д. Как взрыв, происходит расширение области истории; и именно в этой области будут работать историки XIX века.

Можно спросить: зачем все эти детали, описание различных тактик внутри исторической области? Конечно, я мог бы просто перейти непосредственно к Огюстену Тьерри, к Монтлозье и всем тем, кто, используя инструментарий знания, пытался осмыслить революционный феномен. Я задержался на этом в силу двух причин. Прежде всего, по причине метода. Как вы видите, начиная с Буленвилье, формируется исторический и политический дискурс, область объектов которого, надлежащие элементы, понятия, методы анализа очень близки друг другу. В XVIII веке сформировался тип исторического дискурса, общий всем историкам, тем не менее очень разным в том, что касается их тезисов, гипотез, политических целей. Можно совершенно без всякого разрыва проследить всю систему основных положений, служащих основанием для любого типа анализа; проследить все трансформации, с помощью которых можно переходить от истории, восхваляющей франков (Мабпи, Дюбо), к истории, отвергающей франкскую демократию. Можно очень легко переходить от одной из этих историй к другой, отмечая несколько очень простых трансформаций в основных положениях. Существует, таким образом, очень сжатая эпистемическая схема всех исторических дискурсов, каковы бы не были в конечном счете их исторические тезисы и политические цели. Однако сжатость эпистемической схемы никоим образом не означает, что весь мир думает одинаково. Напротив, это условие для того, чтобы не мыслить одинаково, чтобы мыслить различно и чтобы это различие было политически приемлемо. Для того чтобы различные субъекты говорили, могли занимать тактически противоположные позиции, чтобы они могли находиться относительно друг друга в положении противников, чтобы, следовательно, оппозиция была оппозицией сразу и в области знания, и в области политики, как раз нужно, чтобы существовала эта сжатая область, эта сжатая схема, регулирующая историческое знание. Чем более правильно оформлено знание, тем более открывается для субъектов, использующих знание, возможность разделить в соответствии со строгими линиями противостояния, и тем более возможно заставить эти противостоящие друг другу дискурсы функционировать в качестве различных тактических систем в рамках глобальных стратегий (где речь идет не просто о дискурсе и истине, но также о власти, статусах, экономических интересах). Иначе говоря,

тактическая обратимость дискурса является прямой функцией гомогенности правил его образования. Отрегулированность эпистемической области, гомогенность в способе образования дискурса может сделать его полезным в борьбе, имеющей внедискурсивный характер.

Таким образом, именно в целях обоснования метода я настаивал на разделении различных дискурсивных тактик внутри связной, упорядоченной и очень сжатой историко-политической области.²¹ Я на этом настаивал также в силу другой причины — фактической, касающейся событий самого периода революции. Речь идет о следующем: если отодвинуть в сторону последнюю форму дискурса, о котором я только что говорил (дискурса Брекиньи, Шапсаля и других), то можно видеть, что в основном меньше всего интереса к тому, чтобы вписать свои политические проекты в историю, понятно, имели лица, принадлежащие к буржуазии или к третьему сословию, потому что идея вернуться к конституции, потребовать возврата к некоему равновесию сил предполагала наличие уверенности, что внутри этого соотношения сил есть место для тебя самого. Однако очевидно, что третье сословие, буржуазия вовсе не могли, во всяком случае до середины средних веков, рассматривать себя в качестве исторического субъекта во взаимодействии разных сил. Пока исследовали Меровингов, Каролингов, нашествие франков или даже еще эпоху Карла Великого, то как можно было в этой истории обнаружить нечто, относящееся к третьему сословию или к буржуазии? Этим объясняется, что буржуазия в противоположность тому, что обычно говорят, была на деле самой невосприимчивой к истории, даже самой сопротивляющейся ей силой. Именно аристократия была в высшей степени историчной. Монархия была таковой, парламентарии также. Но буржуазия долго оставалась антиисторицистской, если хотите, антиисторичной. Антиисторичный характер буржуазии проявлялся двояким образом. Во-первых, в первой половине XVIII века буржуазия скорее склонялась к просвещенному деспотизму, то есть к некоторой форме ограничения монархической власти, которое основывалось, однако, не на истории, а диктовалось знанием, философией, техникой, управлением. А затем, во второй половине XVIII века, особенно накануне революции, она пыталась ускользнуть от общего историцизма, требуя конституции, которая не была бы поистине реконституцией, а была бы, по существу, если не антиисторичной, то, по крайней мере, аисторичной. Отсюда, как вы понимаете, обращение к естественному праву, к идее социального договора. Руссоизм буржуазии конца XVIII века до революции и в ее начале в точности был ответом на историцизм других политических субъектов, которые сражались друг с другом в области теории и анализа власти.

Быть руссоистом, обращаться к дикарю, к общественному договору — значило уйти от той картины истории, в которой преобладал варвар, его история и его отношения с цивилизацией. Конечно, буржуазный антиисторицизм не оставался неизменным; он не помешал всей перестройке истории. В период созыва Генеральных Штатов можно видеть, что «Наказы третьего сословия» полны исторических референций, но главные из них, понятно, принадлежали дворянству. И просто, чтобы ответить на множество этих референций, проведенных в связи с королевскими указами, с эдиктом, принятым в Писте,²² с практикой Меровингов или Каролингов, буржуазия в свою очередь восстановила всю совокупность исторических знаний именно с целью дать полемическую реплику на исторические референции, содержащиеся в «Наказах дворянства». И затем можно видеть второй вид восстановления истории, наверное, более важный и более интересный. А именно, в ходе самой революции происходило восстановление некоторого числа

исторических моментов или форм, которые выполняли роль своеобразной летописи истории, ее возвращения, выражающегося в языке, в институтах, в знаках, манифестациях, праздниках и т. д., что позволяло создать зримый образ революции, понятой как круговорот и возврат. Итак, можно видеть две большие формы восстановления истории в процессе революции, несмотря на тот юридический руссоизм, который долго определял ее главное направление. С одной стороны, это восстановление Рима или скорее римского города, то есть восстановление как архаического, республиканского и добродетельного Рима, так и галло-римского города с его свободами и богатством: отсюда римский праздник как политическая ритуализация исторической формы, которая довольно основательно была восстановлена в ходе учреждения свобод. С другой стороны, это был образ Карла Великого, я говорил уже о роли, которую ему придавал Мабли, видя в нем фигуру, осуществившую соединение франкских и галло-римских свобод: Карл Великий был человеком, который созвал народ на Марсово поле; Карл Великий — суверен и воин, но в то же время покровитель торговли и городов; Карл Великий — германский король и римский император. Это была мечта сторонников Каролингов, которая развивалась с начала революции, пронизывала ее, хотя о ней говорили намного меньше, чем о римском празднике. Марсово поле, праздник 14 июля 1790 г. — это праздник Каролингов; он проводится именно на Марсовом поле, предполагает определенную связь с народом, созванным своим сувереном, связь каролингского типа, которую до некоторой степени праздник позволял восстановить и оживить. Во всяком случае, этот скрытый исторический смысл обнаружился на июльском празднике 1790 г. Впрочем, лучшим доказательством может служить то, что в клубе якобинцев в июне 1790 г., за несколько недель до праздника, кто-то потребовал, чтобы в ходе этого праздника Людовик XVI вместо титула короля получил титул императора и чтобы при его появлении кричали не «Да здравствует король!», а «Людовик — император!», ибо император «*imperat sed non regit*» приказывает, но не управляет, он — император, а не король. Согласно этому проекту²³ Людовик XVI должен был вернуться с Марсова поля с императорской короной на голове. И понятно, почему в результате слияния этой малоизвестной каролингской мечты с римской мечтой возникает наполеоновская империя. Другая форма обращения истории в ходе революции связана с проклятием, направленным против феодализма, против того, что благородный союзник буржуазии Антрег назвал «самым ужасающим бичом, которым небо в гневе могло поразить свободную нацию».²⁴ Проклятие феодализма принимало разные формы. Прежде всего, можно говорить о простом перевертывании тезиса Буленвилье о нашествии; Об этом говорят некоторые тексты, в частности аббата Пруайяра: «Господа франки, нас тысяча против одного: мы так долго были вашими вассалами, станьте нашими, нам хочется вернуться на землю наших отцов».²⁵ Вот что, по мнению аббата Пруайяра, третье сословие должно сказать дворянам. И Сийес в своем знаменитом тексте, к которому я скоро вернусь, говорил: «Почему бы в самом деле не препроводить обратно во Франконские леса все те семьи, которые сохраняют безумные притязания на права первоначальных завоевателей Франции?».²⁶ А в 1795 или 1796 г., я не припомню точно, Буле де ля Мерт говорил по поводу усиливающейся эмиграции: «Эмигранты представляют наследников завоевания, от которого мало-помалу освобождается французская нация».²⁷ Таким образом, здесь формируется нечто очень важное для начала XIX века, то есть осуществляется новая интерпретация французской революции с присущими ей социальными и политическими битвами в духе истории рас. И именно в связи с проклятием феодализма, вероятно, получает двойственную оценку готика, как она проявлялась в знаменитых романах эпохи революции о средневековье: эти готические романы были романами ужаса, страха и мистерики, но они были также

политическими романами, ибо всегда содержали рассказы о злоупотреблениях власти, бесчинствах; рассказы о несправедливых суверенах, безжалостных и кровожадных сеньорах, наглых священниках и т. д. Готический роман — это фантастический научно-политический роман: политический, поскольку эти романы были, по существу, сосредоточены на злоупотреблениях власти, и научный, поскольку они стремились восстановить на уровне воображения все знание о феодализме, о готике, которое имело, по сути, вековой возраст. Но не литературе и не воображению обязаны своим появлением или, скорее, своим абсолютным обновлением в конце XVIII века темы готики и феодализма. Эти темы фактически присутствовали в области воображения в той самой мере, в какой готика и феодализм были смыслом вековой борьбы, происходившей на уровне знания и форм власти. Задолго до первого готического романа, почти веком ранее шла борьба по вопросам исторического и политического значения сеньоров, их фьефов, их власти, их форм господства. Весь XVIII век, если взять уровни права, истории и политики, был пронизан проблемой феодализма. А в период революции — значит, век спустя после огромной работы в области знания и политики — в конечном счете была только возрождена на уровне воображения эта проблема в фантастических научно-политических романах. И здесь мы сталкиваемся поэтому с готическим романом; но все это нужно вновь поместить в историю знания и соответствующих ему политических тактик. Поэтому в ближайшее время я расскажу вам об истории с точки зрения революции.

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 04:47:42

Зверобой обновил 27 января 2026 04:48:55